

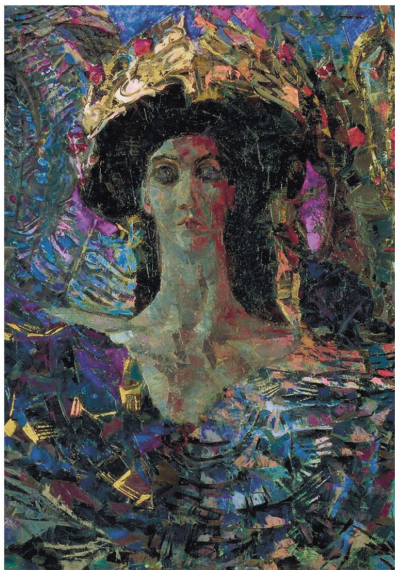
101 ПРОЗАИК XXI ВЕКА

Татьяна
Фро



Нити богинь
ПАРОК

...**К** несчастью, от счастья нет лекарства, и когда оно вдруг хватается за сердце и сжимает его до розовых облаков, то остаётся лишь одно – расслабиться и переждать, ведь эта болезнь под названием «счастье» проходит сама собой и очень быстро, но... может, вот ради этих редких дивных крупниц уже стоит жить, а не отвергать жизнь?..



Татьяна Фро
Нити богинь Парок
Серия «101 прозаик XXI века»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57127851

*Нити богинь Парок:
ISBN 978-5-00170-086-9*

Аннотация

Название сборника рассказов «Нити богинь Парок» говорит само за себя: это судьбы самых разных людей, чьи жизни вытягивают из клубка хаоса, прядут и обрезают по своим прихотям три богини Парки. Двух одинаковых судеб не бывает. Герои этой книги – люди самых разных возрастов, живущие в самое разное время – и в послевоенные годы, и в конце прошлого века, и в наши дни.

Для широкого круга читателей.

Содержание

Рассказы	5
Прощение	5
Музыкант	12
...Ещё меня любите за то, что я умру	21
Контрапункт	31
Отец	38
Защитница	43
Лёгкий ответ любви	48
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Татьяна Фро

Нити богинь Парок

© Фро Т., 2020

© Оформление, серия, Издательство «У Никитских ворот», 2020

Рассказы

Прощение

В 17 лет Люся не имела ни малейшего представления, кем она хочет стать. Тогда, в самом конце 1940-х годов, многие профессии были уважаемыми: рабочие, инженеры, учёные, учителя, актёры, врачи.

Душа Люси металась, не зная, к какой категории пристроиться, поэтому, когда отец сказал: «Иди в медицинский – не прогадаешь», Люся даже думать не стала. Она не белела лицом и не теряла сознания при виде страшных ран или бьющегося в падучей человека, она точно знала, что ни в коем случае нельзя шевелить пострадавшего, который не чувствует своего тела. Она не только не пугалась, но уже умела оказать первую помощь эпилептику или остановить бьющую толчками кровь из резаной раны. Тётки вокруг предобморочно закатывали глаза, а Люся молча, резко, чуть не по-военному делала из своего носового платка жгут, перетягивала где надо, так что когда приезжала завывающая скорая, пострадавший был уже частично спасён – школьницей Люсей. В ней жило какое-то врождённое, высшее милосердие, не ведающее брезгливости перед увечной плотью, но бездумно и мгновенно толкавшее её на первую помощь.

Она поступила в мед с первого раза. Много-много лет спустя она стала в терапии диагностом высшего класса и давала сто очков вперёд умной МРТ, но не менее поразительным было и то, что с годами она не только не обросла равнодушием к больным, что очень часто происходит с врачами, но стала к ним более терпимой и чуткой, и все её пациенты, без исключения, отвечали ей редкостной любовью на всю жизнь. А тогда... в конце 1940-х...

Была она красивой студенткой-медичкой, и ей очень нравилось учиться: были уже и больницы, и роддома, и морги – ничто её не пугало. Но настал день, когда их группа должна была посетить психиатрическую лечебницу. Их строжайше предупредили: ни в коем случае ни у кого из больных ничего из рук не брать, никаких бумажек, записок, писем – как бы те ни умоляли! Это – приказ! Если кто-то вздумает пожалеть хоть одного больного – из института и из комсомола (тогда это было очень серьёзно!) вылетит мгновенно. Впрочем, вести их должен был надёжный человек – заведующий отделением, где лежали не самые буйные, а те, которых выпустить для жизни в социуме было, по мнению психиатров, пока недопустимо, но которым дана была некая имитация свободы: разрешалось гулять по коридору отделения, а двери их палат были распахнуты настежь.

Старая, вся облупленная и ободранная снаружи и внутри психиатрическая лечебница стояла в лесу на глухой окраине Москвы.

Белая, в халатиках группка студентов плотно толкалась след в след за заведующим, ведущим «экскурс»: первый этаж, крупные решётки на всех окнах, двери душевой, туалета – без замков, стены – светлые, крашенные, длинный коридор с распахнутыми дверьми в палаты, каждая коек на двадцать. И – душевнобольные, значит, больные душой. Все – в больших мерзких серых мешках, называемых больничной одеждой, похожие в них на отупелых мышей гигантского лабораторного эксперимента... Взгляды у них странные, глаза какие-то опрокинутые, запавшие в глазницах, перевёрнутые, одни неотрывно следят за передвигающимися по коридору белыми халатиками, иные же словно слепые – взгляд будто внутрь себя. В коридоре, в палатах они сидят, лежат, поют, скулят, бубнят, молчат, отвернувшись лицом к стене.

Люся самой себе не могла объяснить, что с ней стало происходить: она, не боявшаяся ни крови, ни ран, ни трупов, здесь вдруг начала неостановимо трястись мелкой нутряной дрожью и никак не могла с собой справиться, оттого очень глухо воспринимая оптимистичные тексты в исполнении заведующего. Из мозга в лоб билась одна и та же, одна и та же, одна и та же куцая скомканная мыслишка: «...в психиатрию – ни за что!!!»

И, вся в себе, не почувствовала чужого приближения сбоку, оттого и вздрогнула сильно, всем своим тельцем, но удержалась – не вскрикнула, когда ощутила чьё-то лёгкое прикосновение к рукаву халата. Прошло мгновение, показалось

– века. Как получилось, что никто этого не заметил? Санитары, врачи? Она и потом, спустя годы и годы, не могла этого объяснить. И ещё не успев обернуться, увидеть, ожглась горячим шёпотом и начала различать слова: «Умоляю, умоляю!!! Передайте это... там адрес... Умоляю!!!» Тогда она медленно, как во сне, повернула голову и врезалась взглядом в нацеленные на неё молодые глаза за мощными линзами и замерла без дыхания оттого, что увидела в этих глазах нечеловеческую униженную мольбу, дикую тоску и покорность, как у затравленной, убиваемой собаки. Только одного не было в этих глазах: **В-НИХ-НЕ-БЫЛО-БЕЗУМИЯ**. Этот длинный, тощий, с пробивающейся из стриженной головы порослью *не был болен душой*. В единый миг Люся поняла это без всяких дипломов, и ей стало жутко до ледяных мурашек на спине. Он держал в руке бумажку и даже не пытался навязать её Люсе, лишь умолял... Она видела его всего несколько мгновений, но запомнила на всю жизнь, во всех мелочах облика. Люся дёрнулась всем тельцем, едва удерживая готовое угаснуть сознание, рывком ввинтилась в середину своей группы и уже ничего больше не слышала и не помнила, как закончился обход.

Тем же вечером она сильно и надолго заболела, и родители ничего не могли понять из её повторяющегося многодневного бреда о каких-то собачьих глазах, о том, что она что-то должна кому-то передать, но никак не может...

Сколько раз потом в жизни снился ей этот обход в пси-

хушке, этот очкарик, его затравленный взгляд, его мольба и рука с зажатой в ней бумажкой, сколько раз тянуло её съездить туда – но зачем? Что и как она могла узнать о нём, не ведая ни фамилии его, ни имени, ни возраста? И как стала бы она объяснять заведующему своё намерение, как?! Много горя насмотрелась она потом на своей работе, но *его* забыть так и не смогла. А в молодости своей рассказала о нём почему-то одному-единственному человеку – мужу, с которым она успела прожить лишь полтора года, родить близняшек и – на этом всё закончилось: муж, кадровый офицер, погиб на учениях, что порой случалось. Эти полтора года стали в судьбе Люси кратким мигом невыразимого счастья, которого она больше никогда не знала. Радости в жизни, конечно, были, но такого вот счастья – нет. Замуж она больше не вышла – так и не смогла забыть молодого и очень любимого мужа.

.....

73-летняя Людмила Ивановна обожала вечерами смотреть по телевизору новости, забывала их практически сразу, но – обожала. И однажды в ворохе новостей увидела фотографию во весь экран, и показалось – сердце вдруг остановилось, а потом бухнуло разрывным снарядом в грудную клетку: с большой фотографии смотрел прямо ей в глаза старый косматый лев с буйной седой гривой и в толстенных очулярах на глазах... Она не обозналась, нет, нет! Это был именно он – по этим глазам за толстыми линзами, по взгляду с глу-

боко упрятанной затравленностью, по... да чёрт его знает, по чему ещё! Но ЭТО-БЫЛ-ОН!!! Только сейчас она узнала, как его звали, услышала слова диктора: «...на 88-м году жизни... профессор Новосибирского университета... завкафедрой... выдающийся... в области астрофизики... Лондонского Королевского общества... Университета Кембриджа... Калифорнийского университета...», а дальше она не слышала: гигантских размеров солнечная волна счастья накрыла её с оглушающей силой, она уткнулась лицом в ладони, и сквозь старческие артрозные пальцы текли и текли слёзы, а она качала головой и всё повторяла «...вырвался... вырвался...» и тихо сквозь слёзы смеялась светлым счастливым смехом – это не было истерикой, это было давным-давно забытое чувство невыносимого счастья, и в этот миг она простила ту юную, глупую и трусливую Люсю, которую столько лет не могла ни простить, ни оправдать.

Дочь её страшно перепугалась, но когда развела мамины мокрые от слёз ладони, была потрясена выражением неземного света и умиротворённости старого любимого лица, никогда она не видела у мамы такого светлого лика с катящимися по щекам слезами. Сколько лет мама рассказывала и рассказывала эту историю одними и теми же словами одной лишь дочери и каждый раз плакала так, как будто всё случилось только вчера.

С той новости мама перестала это рассказывать, и до конца жизни опустили на неё тихая умиротворённость, тёп-

лый покой, а та глубокая доброта, которая жила в ней всегда, как будто светло проснулась от дрёмы...

Музыкант

Чудной дядька играл на скрипке в длинном переходе между двумя «Курскими» в метро. Марина всегда, даже когда очень торопилась, останавливалась хоть на пару минут перед музыкантами в переходах и даже наличку всегда имела в кошельке специально, чтобы обязательно было что положить. Она очень любила, когда там звучала любая музыка, даже неважно, какого качества, просто настроение делалось светлое, лёгкое, и давала она не металлическую мелкотню, а сто, а то и больше рубликов клала в чехол от инструмента, причём не бросала, как брезгливую подачку, а именно клала, наклонившись, как будто кланяясь музыкантам, и тихо благодарила, чего никто слышать, конечно, не мог.

Вот и теперь Марина остановилась послушать, хотя и спешила. Она не имела никакого музыкального образования, но звуки любой музыки чувствовала каким-то ещё неизвестным в физиологии внутренним органом и хотя и не всегда, но часто узнавала играемое с ходу. Дядька играл что-то из Гайдна, играл так себе, по-любительски, по-домашнему, видно было, что не профи, однако не фальшивил – факт – и интонационно играл чрезвычайно выразительно, как будто бы лишь для себя одного, как будто свою душу выражал или боль какую-то. А чудной он был потому, что стоял почти спиной к мельтешащей толпе, почти лицом к стене. Он

казался высоким оттого, что был очень худ. Одет был во всё чёрное: длиннополое пальто, штаны, съезжающие на допотопные ботинки, глубоко надвинутая на брови старая широкополая шляпа – всё было мятое, затхлое, истрёпанное, однако ни дуновения мерзкого запаха облик его не излучал. Из-под шляпы на плечи спускались волнистые и густые, с проседью волосы, которые, сливаясь с густой же бородой и усами тоже с чудесной проседью, почти уже вовсе скрывали лик, и без того чуть не полностью отворотившийся к стене. Лет ему можно было дать по такой зашторенной картинке от 30 до 60, но равно и меньше 30 или же больше 60. Кажется, ему было наплевать, останавливается ли кто-нибудь около него или нет, а услышать его скрипку в гомоне жужжащего мельтешащего человеческого улья можно было, только приблизившись к нему, однако, кроме Марины, за несколько минут её слушания ни один человек перед ним не остановился. Марина на миг поймала взглядом изумительно прямой нос, посмотрела на его очень красивые и нестарые руки, и вдруг что-то в её сердце ёкнуло – отчего?

Марина не понимала, отчего возникло и нарастало тревожное волнение, но она никак не могла сделать усилие и наконец уйти, не могла отделаться от самопроизвольной лавины назойливых вопросов в мозгах: почему так нестерпимо захотелось увидеть его лицо? Он так зарабатывает себе на пропитание? Или на водку? Может, у него ничего и никого в жизни уже нет? Может, он до того злой и сволочной, что

даже самые близкие от него отвернулись? Или до того добр, что отдаёт всё, что имеет и зарабатывает своей несчастной скрипочкой? А может, он по крохам зарабатывает на лечение кому-то из очень близких, родных? Почему у него вид нищего из ночлежки? Ни жены, ни подруги, ни детей? Почему он стоит чуть не спиной к толпе, от которой ждёт денежных подачек? Он ненавидит эту толпу вообще или он не хочет, чтобы на него смотрели? Почему? А может, он просто запутался в жизни? Долго барахтался изо всех сил, но не сложилось, а? Где он учился игре на скрипке? Это ведь недешёвое удовольствие. Или он самоучка? Кто любил его в детстве, в юности? А он кого любил в детстве до горьких слёз? Он обидчив или отходчив и мягок? Но если он точно знает, для чего он едет играть на скрипке в переходе метро, значит, дух в нём ещё живёт и что-то говорит только одному ему слышное.

Наконец Марина усилием воли решила уходить – мало ли что там в сердце ёкает, достала из кошелька стольник, подошла к распахнутому чехлу и положила туда купюру. Скрипач оборвал музыку на полуфразе, повернул к ней лицо, и они увидели друг друга. Марина даже не прошептала, а прошелестела, как лёгкий ветер по сухим опавшим листьям: «Оле-жа...» Он опустил скрипку: «Маринка...» и улыбнулся такой знакомой, такой любимой ею улыбкой, что весь жужжащий мир вокруг тихо провалился сквозь землю. Он был её первым мужем, которого она любила так, как не любила никого

ни до, ни после него. Они не виделись... дай бог памяти... больше 15 лет? Да-да, точно, 17 лет, с тех пор как тяжело, болезненно расстались. Детей за четыре года супружества не родили, так что встречаться после развода было незачем, однако первое время они ещё переживались, но потом и это заглохло. Психологом (не по образованию, а по натуре) Марина всю жизнь была совсем никаким и уж точно не могла о себе сказать, как говорят тысячи других: «Я любого человека сразу насквозь вижу». Ей нужны были годы, чтобы понять чью-то человеческую суть, с первого же знакомства или взгляда она обязательно и непременно ошибалась и давно уже привыкла и не обижалась, когда слышала в свой адрес менторски-снихождительное: «Да-а-а, в людях ты – как свинья в апельсинах».

Олег был единственным встреченным ею в жизни человеком, в чьей внутренней сути нездешней доброты она не промахнулась. Они познакомились на какой-то людной и шумной пьянке, где ужасно много пили и пели под гитару и Олегову скрипку, что было необыкновенно чудесным аккомпанементом странного сочетания инструментов. Олег тогда работал после универа в каком-то суперзакрытом НИИ, был блестящим аналитиком-математиком, и многие охотились за его мозгами и пытались переманить, а Марина работала в итальянской редакции крупнейшего информационного агентства. Но после кончины «совка», в новой стране за Олеговыми блистательными мозгами уже никто больше не охо-

тился, он же оказался полным лошарой в мире, где зарабатывать огромное бабло надо было не мозгами, а изуверской хитростью, проходимством и махровой подлостью, для чего, безусловно, нужны были определённые способности, но никак не Олеговы, слово же «лох» было отчётливо написано у него на лбу. Кто-то из его бывших, сваливших за бугор коллег пытался его перетащить, но всё что-то не получалось, срывалось. Он ушёл из НИИ, где совсем перестали платить, подвизался то сборкой мебели, то расклейкой каких-то объявлений, то мелкой торговлей чего-то от каких-то домо-рошенных контор, но везде у него всё валилось из рук, получалось по-младенчески нелепо, и его отовсюду вышибали мощным пинком – лох полный, законченный, отвали! Видимо, всё, что он действительно умел в жизни, – быть виртуозным математиком-аналитиком, и он бы, может, и выкарабкался, даже и в родной стране, но как-то ни разу не получилось оказаться в нужном месте в нужное время, нужно было хотя бы маленькое везение – нет, нет, не было! Маринка ещё поколготилась в своём информагентстве и ушла в свободное плавание, ведь она была классным переводчиком-синхронистом трёх европейских языков, поэтому и работу себе нашла быстро: произрастающие во множестве совместные предприятия с зарубежными партнёрами и фирмы-посредники всех мастей, вообще ничего не производящие, нуждались в профессиональных переводчиках. При всём том ни Марина, ни Олег (казалось бы!..) не нашли ни одного добро-

го слова для покойника-«совка», хотя барахтаться в новом болоте, не видя ни одной, хотя и обманчивой чарусы, становилось всё беспросветнее и безнадежнее. Вот тогда-то и начали они тихо расходиться всё дальше друг от друга, чему очень способствовал и тот острый клин, который упорно и всё глубже вбивала между ними Олежина мама и который они даже не попытались выбить прочь: в Марине ей было не так абсолютно всё и с самого начала, и теперь она была уверена, что одна лишь Марина виновата нынче в том, что Олежина жизнь кувырком покатила под откос. Олег вовсе не был маменькиным сынком и свою всё ещё дышащую любовь к Маринке ограждал от своей мамы всеми возможными преградами. Это ведь Марина первая не выдержала: ненависть свекрови лезла уже во все щели их семейной жизни, да и всё труднее стало ей тянуть на своём горбу беспросветного бедолагу мужа, хотя и гения математики, но не способного никак и ничем зацепиться в грязном потоке сумбурной постсовковой жизни.

А скрипка... В детстве он семь лет учился (причём с желанием!) в скрипичном кружке Дворца культуры (были такие разные бесплатные кружки), и хотя, к огорчению мамы, способности проявил весьма средние, однако, повзрослев, скрипку не забросил, частенько к ней прикладывался, но, в отличие от Шерлока Холмса, который играл, когда хотел сосредоточиться, Олег играл, когда душе нужно было отдохновение, или под настроение – то грустное, то радостное, то

спокойное, то тревожное, отчего одна и та же пьеса, например, что-нибудь из Грига, звучала по-разному. Марина любила его слушать, даже и друзья, приходившие в гости, просили его иной раз поиграть...

Они расстались, когда им было по 30 лет, не было ни скандалов, ни ненависти, была лишь всеохватная, тяжёлая, как ртуть, грусть от невнятной невозможности жить вместе.

Теперь, в кишасщем людьми переходе, они смотрели друг на друга из того далёкого далека и почти зримо чувствовали, что что-то они тогда сделали не так и не то...

– Олежа, Олежа, Олежа... – она всё повторяла и повторяла его имя, которое могло быть только у *него* – единственного на свете, как она чётко поняла именно сейчас, любимого мужчины, никаких других Олегов на свете быть просто не могло! – Олежа... почему ты... такой... здесь?

Марина боялась обидеть его гнусными, режущими словами. Ей казалось, что она коснулась рукой чего-то очень хрупкого и тонкого...

– Долго рассказывать, Маришка. А коротко – вот из запоя вышел, деньги нужны... Год уж нигде не работаю, вот на эти деньги, – он развёл руки со скрипкой и смычком в стороны, – и живу, и напиваюсь. Мама давно умерла, из института, не того первого моего НИИ, а другого, куда меня несколько лет назад (уж и не помню, сколько точно) взяли преподавать и на кафедре работать, меня вышибли. Жена бывшая, не ты, Марина, а та, вторая моя, и дочь давно от меня отпали... Ну,

а ты, Марина, ты? Муж, дети?

– Две дочери, 15 и 14 лет, а муж, который после тебя был, теперь тоже бывший. А девчонки мои – чудесные и всё хотят меня снова замуж сосватать. С работой всё путём... Послушай, Олежа, – она запнулась, потом решилась: – А есть у тебя кто-нибудь... любимая женщина у тебя есть?

Он тихо рассмеялся:

– Есть, Маринка, есть.

Марина понятиливо, мелко и часто закивала, протянула руку для прощания и услышала:

– ...это ты, Марина.

Они молча и угрюмо смотрели друг на друга. Она выхватила из сумки какой-то клочок бумаги, что-то на нём нацарапала, протянула ему.

– Олежа, если ты сможешь... если захочешь начать всё сначала, вот – позвони мне... я же знаю, знаю!!! что ты не такой, как сейчас, знаю-ю-ю!!! Я для тебя всё сделаю, если ты... у меня такие связи... Я не верю, что ты мозги свои золотые пропил до дна! Знаю, знаю, знаю – математик как музыкант: бросил заниматься и всё – упал с воза, отстал навсегда, знаю! Плюнь, забудь это! Если ты... тогда позвони мне. Никого, кроме тебя, я рядом с собой не хочу. И может, всё сначала, Олежа, а? К концу пятого десятка лет, ну и что?!

Он молчал и опустил голову, отчего Марина видела лишь тулью его старой шляпы. Она ни на секунду не поверила в то, что говорила сама, но как ей хотелось в это верить! Она по-

вернулась и почти побежала прочь, потому что знала точно, что если хотя бы на миг задержится, то душа её разорвётся в клочья от клокочущей где-то внутри кипящей магмы любви и рыданий...

Она успела проскочить в закрывающиеся двери вагона поезда, когда затренькал её мобильник, и такой родной, такой бесконечно любимый голос сказал:

– Маринка, давай... попробуем... ты мой самый дорогой человек...

...Ещё меня любите за то, что я умру

...Этот совсем небольшой простой деревенский дом в Елабуге, где Марина Ивановна с сыном прожила, точнее, просуществовала, прибыв туда в эвакуацию в августе 1941 года, последние 11 дней своей неподъёмно тяжёлой жизни... Этот крохотный закуток за фанерной перегородкой, выделенный хозяевами дома ей с сыном для житья... Этот дом, этот закуток не отпускают меня уже много-много лет, они проходят сквозь меня острыми пиками: **М-А-Р-И-Н-А**, за что тебе всё это?!

До какого пограничного отчаяния должен дойти человек, чтобы не с ходу и не спонтанно, а чётко осознанными действиями с планомерной и холодной расчётливостью умертвить себя, не допуская ни шанса на дальнейшую жизнь... До какого же беспросветного отчаяния нужно дойти, чтобы повеситься там, где повеситься можно, только лишь подогнув колени... Когда я встала на то место в сенях дома, где должна была встать Марина Ивановна Цветаева, когда накинула себе на шею верёвку, сквозь меня, как смертельный разряд, прошло яростное и страшное чувство, которому нет названия, и показалось, что через меня в тот миг пролетел дух Марины Ивановны, и я очень явственно поняла за неё, что не могу больше быть на этом свете, не могу больше даже пытаться барахтаться в этой жизни, где нет не то что ни единого

просвета, но нет даже тени надежды на просвет...

Что чувствовала она, когда писала три свои предсмертные записки: сыну Муру, Асееву с просьбой не бросать Мура и «эвакуированным»? Что? Дорого бы я дала за то, чтобы это узнать, но узнать это не суждено никогда и никому. Они написаны очень чётко и, как кажется, очень спокойно, и я безусловно верю в её бездонную искренность за минуты до самоповешения, когда она истово признаётся в любви и к Муру, и к дочери Але, и к мужу Сергею – какой бы взбалмошной ни была она во всю свою прежнюю жизнь, но вот эти последние её в жизни слова, в записках, как будто нивелируют все её прошлые взбалмошности, резкость, непримиримость и категоричность мнений, суждений, оценок, непредсказуемость и яростные метания настроения, взрывчатость и бесшабашность поступков, вспыльчивость, горячность – всё это, всё в себе прежней она как будто зачёркивает в себе, уже полумёртвой, тремя своими записками перед повешением.

Самое же главное объяснение и невысказанную просьбу понять её самоубийство я вижу в словах записки, адресованной сыну: «...Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Пойми, что я больше не могла жить...» Непонятны по своей истинной сути здесь лишь слова «Я тяжело больна...»: поняла ли Марина, что больна в самом прямом смысле слова (тогда – чем?), или же так она назвала своё пограничное состояние души, за которым следует страшная, бездушная пустота? И этого тоже никто никогда

уже не узнает.

Она могла бы повеситься в горнице – там потолки выше, чем в сенях, но она (я уверена в этом, хотя ни я и вообще никто не может знать, о чём она думала за часы, за минуты до повешения) даже в самый миг невозвратности подумала о том, что может испугать шестилетнего хозяйского внука, когда он вернётся домой и увидит её в петле мёртвой, не смогла позволить себе опоганить приютивший их с сыном дом мерзостью самоубийства, хотя хозяева потом и считали, что она всё же их дом опозорила и обесчестила на всю Елабугу и на века. Если бы они *тогда* знали, кого обвиняют в позоре своего дома...

А будь в то время Борис Пастернак уже в Чистополе (он прибыл туда в эвакуацию лишь в октябре, то есть когда Марины Ивановны уже как больше месяца не было на этом свете), то есть тогда, когда она из Елабуги катала в Чистополь искать работу, стал бы он, Пастернак, тогда для неё той преградой, которая не пустила бы её к петле? Смог бы он дать ей сил и хотя бы мизерной надежды жить дальше? Я почти уверена (без всяких на то оснований), что Борис Леонидович смог бы лишь на неопределённое время отсрочить её любое самоубийство, лишь отсрочить – не более, потому что он никаким образом не смог бы вернуть ей любимых людей, не смог бы никак исправить жутко искалеченную к тому времени её жизнь, не было у него для этого ни возможностей, ни полномочий... И пусть мне миллион раз долбят расхожее

«история не знает сослагательного наклонения», пусть! Но я всё равно буду строить и строить догадку за догадкой, потому что безмерно хочу понять, докопаться до ответа на вопрос: был ли у неё тогда иной выход, но не в бездну и не в беспросветную тьму (если бы она осталась доживать свою жизнь), а выход, в самой дальней дали которого она увидела бы если и не свет, то хотя бы намёк на просвет?

Или если бы она была глубоко верующим человеком, каким она в жизни не являлась, спасла ли бы её вера, как спасала в жуты лагерей её младшую сестру Анастасию? Не думаю, не уверена в этом... Ещё в молодости на вопрос, верующая ли она, Марина отвечала: «Я не верующая, я – знающая». Да и если бы она была глубоко верующим человеком, то никогда она не написала бы ни единого из своих стихов, никогда не было бы такого Поэта, как Марина Цветаева.

Чтобы повеситься, сложившись в коленях, надо очень стремиться уйти из жизни и надо очень умудриться это сделать, недаром она так боялась, что лишь придушит себя, но не удушит насовсем, больше муки удушения боялась быть похороненной ещё заживо, с таким страхом написаны её последние строки в записке «эвакуированным»: «...Не похороните живой! Хорошенько проверьте!»

И ещё я знаю точно: чтобы решиться на любое самоубийство, нужно иметь натуру немислимой огромности силы воли. И я не возьмусь судить о том, какой человек сильнее: тот, который решился на самоубийство, или тот, который, ока-

завшись замурованным заживо без всякого просвета, всё же тщится любой ценой и непонятно как, но – выжить...

Я тупо и абсолютно уверена, не имея тому совершенно никаких доказательств, никаких аргументов, что только одно могло бы её спасти тогда и что самая мысль о самоубийстве не объяла бы её ни тогда, ни потом – это если бы рядом с ней был хоть один человек, который бы любил её бесконечно, но – именно рядом, а не где-то далеко, но такого человека не оказалось. Недаром узнавшая о её смерти лишь спустя два года, гниющая в гулаговских лагерях дочь её Аля в одном из писем оттуда родной тётке Елизавете Яковлевне написала: «Если бы я была с мамой, она бы не умерла. Как всю нашу жизнь, я несла бы часть её креста, и он не раздавил бы её...» У сына своего, Мура, любимого Мариной Ивановной до безумия, который был именно рядом с ней всё время, она (такое впечатление) не вызывала ничего, кроме жгучего раздражения, муж Сергей, который всю жизнь не только принимал её именно такой, какой она была, но и любил её такой, – посажен, а потом и расстрелян как враг народа (о его расстреле Марина так никогда и не узнала), младшая сестра Анастасия – в лагерях как враг народа. Никого не было с ней рядом, у кого за неё – не за себя! – душа бы кровью обливалась, никого, кому она могла бы до самого дна выплакаться в своей безбрежной безысходности...

За 11 дней пребывания в Елабуге Марина Ивановна не написала ни единой строчки ни в своей крохотной записной

книжечке, ни на каком-нибудь клочке бумаги – ни слова! А ведь в прежней, отнюдь не лёгкой жизни страдания и метания души были для неё как дрова для топки, о чём её муж Сергей когда-то с большой болью написал в письме к Волошину, «...всё в топку!..» – это ведь про неё, про Марину. А там, в Елабуге, не сработало ничего: ни «...птица Феникс я, только в огне пою!», ни «...всё в топку...», ни «...за этот бред пошли мне сад на старость лет...», ни «...я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи – те самые серебряные сердечные дребезги...» – *ни-че-го!* Там, в её последнем пристанище в Елабуге, не оказалось ничего, кроме настоящей страшной топки, в которой она и сгорела заживо и без сопротивления, на которое у неё уже не было сил, и строки, написанные Анной Ахматовой в 1940 году, кажутся как будто написанными и Мариной тоже: «Но я предупреждаю вас, / Что я живу в последний раз. / Ни ласточкой, ни клёном, / Ни тростником и ни звездой, / Ни родниковой водой, / Ни колокольным звоном – / Не буду я людей смущать / И sny чужие навещать / Неутолённым стоном...»

Не могу я спокойно смотреть на две металлические розы, прикреплённые на стенке в сенях на уровне головы повесившейся Марины Цветаевой, не могу я на них смотреть и не смотрю, потому что, если вдруг посмотрю – вижу явственно бездвижную Марину в петле, и не плакать мне хочется, а дико, без слов, по-звериному выть...

Наверное, когда Марина Ивановна с сыном разместилась

в этом деревенском доме, он не был таким чистенько-опрятненько вылизанным, каким он предстаёт ныне рою туристов, которых привозят и привозят туда череды автобусов и в жару, и в снег, и в дождь... Но это и не важно.

Как-то так получилось, что почти вся наша туристическая группа уже ушла к автобусу, и только мы трое или четверо (не помню точно) остались в сенях дома, тех самых, Марининых сенях, когда местный экскурсовод, изумительной красоты молодой парень, вдруг начал читать Маринины стихи. Он читал без кривлянья и лицедейства, без вывертов и апломба, читал так просто и естественно, как если бы эти слова были его собственными, только что порождёнными его душой и разумом, и именно от этой душераздирающей простоты, от того, что слова эти сейчас буквально зримо, как живые существа, заполняют собой маленькие и низкие сени, в которых прекратила свою жизнь породившая эти слова редкостная и великая душа, я больше не смогла удерживать в себе то, что рвалось изнутри, и слёзы всё текли и текли по лицу, и никак ничем нельзя было их остановить. Ни в каком самом прекрасном концертном зале, ни в каком самом великолепном исполнении не зазвучат Маринины стихи так, как я услышала их там, в сенях её последнего пристанища в жизни:

*...моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд...*

И мы, трое или четверо забывших про то, что ждёт нас автобус, что нас будут ругать за то, что мы задерживаем экскурсию по Елабуге, стояли, слушали и всё плакали и плакали, молча, совершенно беззвучно, без мыслей, без всплесков, без рыданий, а парень читал и читал ещё и ещё:

...послушайте, ещё меня любите

За то, что я умру...

...И будет всё как будто бы под небом и не было меня... —

нет, Марина, нет, вот в этом ты ошиблась – и сейчас, через почти 80 лет после твоего ухода, и потом, через 200 или 1000 лет, не будет на нашем свете так, как будто бы и не было тебя, потому что зияющая пустота в том месте нашего огромного мира, где была ты, живая, не затянется никогда и никто никогда занять это место не сможет, потому что нет и не будет на свете второй Марины Цветаевой.

...А когда наш маленький теплоходик уже отвалился от елабужского причала, и, как это всегда бывает, уже царило оживление публики после увиденного и услышанного, я не хотела ни о чём и ни с кем говорить и пошла на крышу, где никого пока не было и откуда я могла смотреть и смотреть на удаляющуюся Елабугу и прощаться с Мариной, пока и сам городок из вида не исчезнет.

А потом, за ужином и в разговорах на палубе, я слышала в разных вариациях от разных людей слова, от которых серд-

це моё онемело: «...она не мать, бросила сына на произвол судьбы, не смогла, видите ли, больше жить... это моё личное мнение, я имею на него право...», «...она же обеих своих дочерей... да-да-да, мясо что-то совсем не прожарено, не буду есть... сдала в приют, и это мать?! Фффууу... отвратительный компот! его невозможно пить!.. про дочерей в приюте и не вспоминала, и не ездила, потому одна её дочь-то там умерла, какая она мать, настоящая мать так никогда бы не поступила! И не надо меня переубеждать! Я имею право на собственное мнение!»... Больше всего хотелось со всего размаха всей пятернёй наотмашь вклеить прямо по этому личному мнению: нет такого права ни у кого – судить Марину! Нет, и всё тут!!! Такое право было лишь у её дочери Али, у её мужа Сергея, у её сестры Анастасии, у её сына Георгия, но ни Але, ни Анастасии, вышедшим из лагерей уже много лет спустя после смерти Марины, даже слова такие на ум не пришли, а тем, которым что непрожаренное мясо, что жизнь Марины Цветаевой и её стихи – всё едино, приходит в башку запросто судить великую жизнь прекрасной и такой не поддающейся определению Марины Ивановны Цветаевой.

Нет и не может быть ни в каких измерениях, ни в каких временах даже тени, намёка на знак равенства, даже хоть единой случайной точки соприкосновения между хамской, разнузданной вседозволенностью смердящих «личных мнений», ярлыков, запросто наклепываемых на великие жизни, судьбы во время расслабленного отдохновения или смачного

поедания «непрожаренного мяса», и – теми авторскими повествованиями, где судьбы Марины, её мужа, её детей, сестры прочувствованы и пропущены через боль души автора и рассказаны с изумительной деликатностью без категоричных оценок и определений.

Прости нас, Марина, всех и за всё!!!

Контрапункт

Когда почти через 20 лет после института Гене вдруг позвонила и попросила о встрече Елена, которую он с первых курсов вуза так безнадежно-больно любил и даже после своей женитьбы всё равно любил, он захлебнулся от ликования: наконец-то настал день его реванша, наконец-то он сотрёт её в пыль ядовитым сарказмом, наконец-то она поняла, *что* потеряла, и теперь ползёт к нему на коленях. Наверное, уже знает из теле- и радиопередач, из газетных статей, из Инета, что он теперь на огромном белом коне: высоченный руководящий пост в очень крупном международном космическом проекте, о котором столько пишут и говорят, а недавно вот, бросив старую жену и общих с ней уже взрослых детей, женился на молоденькой красотке, которая его, конечно, любит, какие тут сомнения? А теперь эта Ленка, значит, просит о встрече, ну-ну...

Елена приехала на место встречи намного раньше назначенного времени и, медленно шагая у выхода метро туда-сюда, совсем погрузилась в свои мысли. «Господи, господи... Господи, господи! Господи, господи!!! – металось в её голове, возвращенной временем научного безверья. – Что ж ты наделал, Сашка? Зачем?!»

Саня Григорьев, их с Геней бывший сокурсник, был человеком с небесным поэтическим и музыкальным даром, кото-

рый терзал и мучил Саню, но ни покоя, ни счастья не приносил. Зачем вообще Саня поступил в этот технический вуз, не понимал никто. Саня почти сразу выделил из всех сокурсников Гену и почему-то за глаза называл его «божьим человечком», что-то он видел такое, чего не видел никто другой, в том числе и Елена, и очень он прилепился к Гене душой.

Мысли Елены метались, как и она сама: «Саня, Саня, да разве стоило твоей жизни бросовое мнение этого долбаного барда, кумира народного и твоего? Увидеть мрачность там, где у тебя грусть?! Он дрянь, Саша! Он даже не понимает, что он убийца, что нельзя “правдивым” мнением громить небесный дар, как у тебя, его можно лишь едва касаться, как тончайшего фарфора...» Мысли Елены закручивались, как смерч, вбирая в себя всё, что попадалось на пути. «...Сашка, как же я люблю тебя, все 20 лет... Мой муж? Да, да, конечно, муж, но – я же люблю тебя, Саша. Тамару твою я все годы ненавидела за то, что ты её полюбил, а не меня...»

Вдруг мысли с бешеного галопа резко встали на дыбы, и боль в том месте, где у Елены была душа, провалилась в странную пустоту. «А я бы смогла, как Тамара??? Жить с таким человеком, как Сашка, тащить его на себе, да ещё и детей растить? Сколько раз она его сдёргивала с самого края отчаяния? Чего *ей* это стоило? Его запои, его дикие перепады: то он, видите ли, гений, то вдруг бац! – полное ничтожество! Такие, как Сашка, не живут, а мучаются, но по-другому не умеют, не могут, как будто что-то изнутри их челове-

ческой оболочки само дико больно прорывается на свет, как будто внутри ангел с чёртом в колючей проволоке насмерть бьются, и вот из этого кошмара – какие стихи, какая музыка! Без таких, как они, мы бы обратно в амёб скукожились. Кто выбирает, в чью душу заложить этот заряд ядерной мощи? А когда мощь вырывается, такая душа на миг взлетает на неведомую простым смертным вершину счастья. Но жить с таким человеком – о-о-о!!! – Елена глубоко вздохнула, как будто впервые прозрела. – Да, да, жена Модильяни, Жанна, вот то же самое... по всем помойкам его искала, вытаскивала... а ведь он начисто забывал и её, и детей, впроголодь держал, и она же его смерти не смогла пережить – с собой покончила. Да что же, наконец, такое – эта чёртова Любовь? Может, это и есть восчувствование боли иной души стократ сильнее, чем любой своей?

Забвение себя ради этой души? А я бы так смогла??!! Не знаю... Не знаю...»

Гена, не зная, что Елена пришла раньше, специально ещё и припоздал немного на встречу, чтобы она увидела, на какой роскошной тачке он приехал, но она вообще этого не увидела – так была окутана волнением и мыслями, глядя себе под ноги. Гена чуть досадливо крякнул и, идя к Елене, увидел, что она и теперь, спустя почти 20 лет после юности, всё ещё невероятно красива, и какая-то волна заданного внутреннего настроения реванша слегка, но всё же споткнулась. И когда он подошёл со снисходительной улыбкой и за-

готовленной саркастичной фразой приветствия, она вдруг, оборвав его фразу, с ходу, сильно волнуясь, швырнула в него словами:

– Саня Григорьев вчера умер – вены себе вскрыл. Дома. В ванне. Мне его жена, Тома, позвонила. Ведь он от тебя вчера вернулся, да? Что, что ты ему наговорил, когда он к тебе приехал? Что?! Тома звонила тебе ночью, но твоя жена вежливо сказала, чтобы она перезвонила тебе утром, а тебя будить она ни за что не станет. А эту встречу я назначила тебе по собственной инициативе, потому что я Саньку очень люблю, потому что я должна знать, что ты ему сказал!

Всё вокруг показалось Гене нереальным. Он молча шамкал ртом, как вытасченная из воды рыбина. Вчера сквозь рыдания Тамара, Санина жена, с трудом рассказала Елене, что Санька ввечеру без предупреждения вдруг поехал к Гене, но её, Тамары, и детей их не было дома, когда он уезжал, он лишь записку в кухне на столе оставил, а вернувшись, наполнил ванну водой и вскрыл вены. Тамара, оставив детей у родителей, приехала слишком поздно: уже ничего нельзя было поделать. И теперь Елена, спотыкаясь словами, почти кричала, забыв о прохожих вокруг, почти требовала, чтобы Гена сказал, о чём они с Саней говорили, какой Саня был, когда нагрязнул в гости?

Гена, сначала одеревеневший, внезапно побелел от бешенства:

– Постой, постой... Так это что, вы на меня его самоубий-

ство вешаете??!! НА МЕНЯ-Я-Я???!!! А ты знаешь, какое у меня было кровяное давление, когда он ко мне заявился в ночи, без звонка? Знаеш-ш-ш-шь???!!! А ты знаешь, что такое руководить отделом в международном проекте?! Я по 20 часов в сутки почти без выходных пашу, домой приползаю чуть не ночью уставший, как последняя скотина! У меня хронический бронхит, у меня гастрит, давление зашкаливает, а он тут заявился жаловаться на жизнь: смысла он, видите ли, больше в ней не видит! Попахал бы как я – увидел бы! Ведь я ему правду, понимаешь, *правду* выложил! Жена моя, хоть и молодая совсем, а меня понимает, подошла и сказала ему, чтобы он приехал как-нибудь в другой день, что мужу сейчас (мне, значит) надо отдохнуть... И вы не смейте на меня его смерть вешать, не смейте!!!!

Елена смотрела на упитанное, когда-то в общем симпатичное лицо, теперь покрывшееся большими красными пятнами – да, явно давление, потом стала медленно отшагивать назад, как от страшного края пропасти, и наконец скорее просипела, чем сказала:

– Ты абсолютно прав: высокое давление, да ещё в нашем-то возрасте, – страшная штука, а там и инсульт, и инфаркт... я не иронизирую. Но я, убей! не понимаю, почему Санька тебя ещё с института прозвал «божьим человечком», он в тебе какой-то тёплый свет видел, а я вот не видела и долго, очень долго думала, что ошибаюсь в том, что *не вижу*, что мне просто не дано видеть того, что Санька видел в тебе.

Но сейчас, в этот самый миг я точно знаю: я не ошибалась! А почему Саня тебя считал чуть не святым – я не знаю, никогда у него об этом не спрашивала. А ты береги себя! Я знаю, без иронии, ты специалист, которого очень ценят, классный специалист. Да, вот ещё что: правду, всегда только правду и ничего, кроме правды, лупит лишь существо крайней жестокости, близкой к садизму.

Елена повернулась и побежала прочь от своего упитанного элегантного собеседника. Лицо его опять побагровело, он хотел крикнуть ей что-то вслед, потом грубо и громко выругался, махнул рукой и быстро пошёл в другую сторону, к своей роскошной тачке...

ГРОМОВОЙ ГОЛОС РАЗДАЛСЯ НАД ИХ РАСХОДЯЩИМИСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ФИГУРАМИ:

– Стоп!!! Снято!!! Отлично, ребята!!!! Пе-ре-рыв!!!

А они уже быстро шли навстречу друг другу по опавшим жёлтым и красным листьям, и он, уже приближаясь к ней, громко заговорил на ходу:

– Рая, я же не успел тебе сказать перед началом: наш главный Сашкины песни послушал в записи и так обалдел, что назначил Сашке день встречи. Может, всё получится? Ведь талантище какой! А в Саньку как будто жизнь кто вдохнул!

Рая легко и счастливо рассмеялась:

– Как же здорово, что Санька тебе позвонил, когда ему было совсем хреново! Эх, Алёшка, Алёшка, мне кажется, что за все 17 лет нашей с тобой совместной жизни так сильно, как

сейчас, я тебя ещё не любила... Да не обижайся ты, дурень!

– Ну, тогда пить и кушать? Кушать и пить? Ура-а-а-а! Вон, нас уже зовут!

И они пошли, смеясь и неся всякую только им понятную чепуху.

Отец

С тех пор как Таня начала воспринимать мир вокруг, она знала от бабушки, что отец её не вернулся с войны не потому, что был убит или пропал без вести, а просто потому, что не вернулся... К ним с мамой и бабушкой, домой не вернулся, а ведь у него никого, кроме них, не было.

Он ушёл на фронт с началом Великой Отечественной, а спустя три месяца родилась Таня. О её рождении он узнал из мамино письма, ещё успел прислать счастливейшие слова и... замолчал. Но похоронок не было. Мама извелась, пытаюсь хоть что-то узнать... И вдруг пришло от него письмо, без обратного адреса, кем-то, значит, лично брошенное в почтовый ящик их квартиры, написанное корявым почерком и скорее похожее на записку: «Люся, не жди меня и не ищи. Береги Танюшку. Я не вернусь к вам НИКОГДА. Виктор».

Мама сгорела очень быстро, и Таня, которой едва исполнился год от роду, осталась с бабушкой. Через много-много лет, когда бабушки уже не было на свете, Таню как-то попросили назвать единственное слово, которое она полагает наиглавнейшим в жизни. Слезы взорвали ей глаза, но она успела не раздумывая ответить: «Доброта», и в этом слове, редчайшем даре небес, была вся её бабушка. А тогда...

...Она росла, без матери и отца, но в таком коконе бабушкиного тепла и светлой любви, что не чувствовала себя си-

ротой. Тем более что гораздо более ущербных, чем она, было тогда во всей огромной родной стране полно. А ведь у неё и бабушка была, и отец-то всё же был... где-то там... но ведь был!

Бабушка любила рассказывать про Таниных маму, отца. Раскладывала фотографии, гладила их, целовала, её слёзы капали на них, и Таня плакала просто заодно с бабушкой, ни капельки не ощущая себя несчастной.

Жили они очень скудно, на хилую пенсию за маму и на бабушкины тощие доходы от шитья на дому. Но люди вокруг были, были! Кто старые вещички приносил, которые бабушка перешивала, кто варенья. А бабушка светло и искренне радовалась всем, угощала чем было и слушала, слушала бесконечные жалобы на жизнь, а про свою всегда говорила: «Да что нам сделается?» и ни слова жалобы, нытья.

Тане было уже девять лет, когда однажды осенью явился к ним домой незнакомец, и приход этот перевернул и озарил всю их жизнь.

Ему было лет 20 на вид. У него было очень красивое лицо, но какая-то волчья, не исчезающая угрюмость выражения, мрачного взгляда исподлобья как будто набрасывала толстую пелену на эту красоту.

В щель через дверную цепочку он назвал бабушке имя, отчество, фамилию, год, день рождения Таниного отца, год и день рождения Тани, и бабушка лишь страшным усилием не потеряла сознания.

Его звали Саша. Скупно ответил, что отец его пропал без вести в начале войны, мать убили у него на глазах в их родной деревне под Смоленском, а он, 10-летний тогда пацан, сумел убежать, мытарился и уже своими был пойман и попал в детдом маленького зауральского городка.

В 15 лет пошёл санитаром в местный дом инвалидов, где и увидел впервые Виктора, Таниного, значит, отца, пять лет уже там лежавшего. Вмиг с дикой болью порвалась в его душе какая-то струна: перед ним был туго затянутый в одеяло огрызок человеческого тулова без нижней части, вовсе без рук, только голова и лицо почему-то оказались нетронутыми. Мощная волна без названия поднялась в нём к Виктору, понял он, что не бросит его никогда.

Саша не знал брезгливости, каждый день носил он Виктора на руках в санузел, мыл его, запелёнывал в чистое, выносил гулять. И месяца через два начал Виктор скупно хоть что-то говорить Саше, а ведь молчал он с тех пор, как тулово его привезли сюда в конце 41-го года. Только письмо тогда продиктовал санитарке, то самое, и просил не отправлять по почте...

Саша узнал от санитарок, что жизнь была ненавистна Виктору, но он даже не мог себя убить. Однажды отказался есть и пить, плакал, умолял дать ему уйти, но нечем ему было сопротивляться, когда стали кормить и поить его силой.

И необъяснимо отношения этих двух людей, таких одинаково по-волчьи замкнутых, переросли в нечто такое, чему и

названия-то нет, что даже больше и выше, чем дружба. Только одного Саша не смог сделать для Виктора – умертвить его, а уж как Виктор просил, даже плакал... Не мог Саша...

А спустя немного лет вдруг чётко увидел Виктор свою Смерть, обрадовался ей и продиктовал Саше письмо к жене, о смерти которой не знал, дочери Танечке, которую никогда не видел, и теще, которую искренне любил. Просил Сашу отвезти это письмо лично, после смерти.

Саша положил на стол перед бабушкой и Таней письмо и квитанцию о переводе на их адрес денег – всей накопившейся за девять лет пенсии Виктора, из которой были потрачены какие-то копейки. Перевод денег с трудом уладил директор дома инвалидов. А в письме, написанном Сашиной рукой, говорилось только об одном: об огромной любви к жене Люсе, к доченьке Тане, к теще, и всё это письмо было сплошной болью от того, что он, Виктор, никогда-никогда-никогда их больше не увидит...

Виктор умер неделю назад, сказал Саша, на местном кладбище его и похоронили.

Быстро приехала бабушка с Таней в тот городок. Когда Саша привёл их на могилку Виктора, бабушка опустилась на холмик, обняла жердь с кургузой красной звёздочкой на верхушке, с прибитой дощечкой, где были две даты через тире, фотография Виктора с паспорта, всем лицом уткнулась в дощечку и закачалась, и тихо завывала... А Таня уткнулась лицом в бабушкин бок, никогда она прежде так не плакала...

...Вся, вся её жизнь была как огромными крылами согрета любовью трёх самых любимых её людей: бабушки, отца и Саши. Потому и вышла её жизнь – просто счастливая.

Защитница

Тётка, стоявшая на автобусной остановке, была такая невзрачная, что мимо неё проходили, как мимо столба или урны, то есть не замечая наличия живого объекта. Она стояла, сжавшись в комок от ноябрьского ледяного ветра, в тощенькой плюгавенькой куртchonке со свисающими из-под неё подолами двух растянутых свитеров, на голове её была такая же плюгавенькая, под стать куртchonке, шапчонка. Всё в ней было невидно и неопределённо, даже лицо, почти полностью скрытое низко надвинутой на глаза шапчонкой без цвета и фасона, к тому же нижняя часть лица была замурована по самые глаза толстым серым шарфом. Даже ориентировочно невозможно было втиснуть её ни в какую чёткую возрастную категорию: видно, конечно, что не девушка, но и на возраст 300-летней Бабы-яги тоже явно не тянула.

Народу на остановке было немного, и среди прочих невдалеке от тётки стояли и громко разговаривали три ещё не старых, но уже и не очень молодых, однако уже тучно-упитанных, туго-пузастых дядьки. Все они были в отменных укороченных, но тёплых куртках, здоровенных берцах, на жирных щупальцах жирных конечностей – огромные перстни, такие, чтоб сразу всем в глаза бросались. Вообще-то такие на автобусах не ездят... В конечностях у них были банки с пивом, которое они громко, с присвистом выхлёбывали, они не чу-

яли, что от них разило смрадом помойки, они красовались и сами перед собой, и перед прохожими, они мерзко, резко гоготали, и каждое выплюнутое ими слово обволакивалось не простой разговорной, а злобной, чёрной матерщиной.

Незаметная тётка тряслась от холода и поначалу не слышала их разговора, да она и не думала прислушиваться. И вдруг как будто какая-то пелена у неё в мозгу прорвалась, и она очень явственно услышала буквально каждое слово фразы, пересыпанной всё той же злобной матерщиной, выплюнутой одним из этих троих жирных боронов:

– ...да сдаться надо было со всеми потрохами Гитлеру! Героев из себя корчили! Сейчас бы и здесь Германия была, жили бы сейчас, как в шоколаде, пиво бы баварское потягивали...

Рыла весело и согласно заматерились, громко рыгнули, заржали и приложили свои банки к ротовым отверстиям.

Огромная тяжёлая пустота вдруг обрушилась на иззябшую тётку, и в этой глухой пустоте ослепительным ядерным взрывом вспыхнула страшной силы ненависть, и никто вокруг ещё ничего не успел понять, когда тётка, одним прыжком подскочив к холуям, со всего размаха вдруг всадила острый нос своего старого, допотопного ботинка прямо в жирный, не укрываемый курткой, пах «баварского пивка»... Банка с пивом, отлетев, грохнулась в стороне, «пивко» взвыло по-звериному, лязгнуло челюстями и, сложившись пополам, осело, как куль с дерьмом, и тут же получило ещё тем

же ботинком, но теперь – с хряском прямо в мычащее и матерящееся рыло, пакостно истекающее слюнями и соплями. И хотя на самом-то деле удары тощей тётки не имели сокрушительной силы, но они были совершенно неожиданны и к тому же – в очень чувствительные точки.

А тётка, побелев лицом, забыв о себе, что она-то – человек, в те два-три мгновения, когда все застыли в немой оторопи, успела ещё всадить ногой в жирную, корчащуюся тушу, куда попадала, и вдруг закричала, не слыша саму себя, своего страшно срывающегося от надрыва голоса:

– ...за моего деда убитого, быдло!! За всех, кто руки свои, ноги... кто жизнь свою потерял, падаль ты ублюдочная!.. чтобы ты, сволочь, мразь, теперь жрал, жил, пивом блевал!..

Она кричала, даже когда упала, сбитая с ног мощными берцами двух других рыл, но она ещё не чувствовала всей страшной силы боли и тогда, когда в глубине левого глаза ярко вспыхнуло, когда челюсть хрустнула зубами, когда что-то мощно шарахнуло сверху по голове и как стальной дубиной жахало по спине, бокам, – она не чувствовала, потому что так огромна и страшна была прорвавшаяся в ней ненависть. Два опомнившихся от неожиданности рыла, пока их третий очухивался, с радостной матерной ненавистью начали со всего размаха молотить своими стальными берцами эту тощую, немолодую тётку, упавшую с первого же удара. А люди вокруг уже что-то истошно орали, кто-то пытался оттащить радостно излобленных бугаёв, но и этим пытавшимся

тоже с хряском доставалось, но уже какие-то два дядьки, всё же оттолкнув бугаёв, мощно рванули «защитницу» и поставили её на ноги, пытаясь отволочь подальше в сторону, но она последним рывком раненого зверя вырвалась, вывернулась и, с лицом в крови, с заплывшим глазом, опять наскочила, чтобы бить, бить, и всё кричала:

– ...не тянул бы ты пивко баварское, мразь! Ты бы, жирная сволочь, на заводах Круппа сутками пахал бы, а потом бы сдох! Потому что рыло у тебя, ублюдок, не арийское! Ты бы крысой подопытной был у докторов менгеле, рашеров!.. А бабу твою пустили бы на размножение и на утеху таким, как ты, быдло!!!..

И опять кто-то стальными клещами схватил её за локти сзади и теперь уже очень мощно тащил куда-то прочь, прочь, а она опять всё пыталась вырваться и, извиваясь, брыкаясь в чьей-то мёртвой хватке, всё кричала уже сильно разбитыми губами, так что уже трудно было и разобрать её слова:

– ...дебила из тебя бы делали уколами, славянская морда! Конечности бы тебе отрезали, кишки бы вырезали по частям и смотрели бы – выживешь, сволочь? А сколько без вырезанных почек протянешь, сволочь?!.. А МОЖЕТ, ТЫ ПОЛЯК!?!? ИЛИ ЕВРЕЙ?!?! Зубы без наркоза выдрали бы и в печь тебя – живьём!!!..

Среди гула растревоженных голосов она как будто откуда-то издалека услышала глухое, гулкое эхо женского голоса: «...психопатка, такую случайно заденешь, так она убьёт...»

и потом, поверх этого, чьи-то разные голоса: «...а молодчина тётка-то, молодчина...»

...В точности ли так всё произошло на самом деле, или за несколько прошедших потом лет местное население наслоило уже изобретённые народной фантазией подробности, превратив ту историю в яркую местную легенду, – кто ж теперь скажет? Рассказывают, что примчались тогда вызванные гражданами и полиция, и скорая, но к тому моменту от трёх рыл в берцах уже и след простыл, а все так называемые очевидцы тыкали пальцами во все стороны подряд, указывая якобы направления, в которых эти рыла могли исчезнуть. Рассказывают, что забирать тётку и заводить дело полиция не стала, а тётка вроде бы отделалась лишь сильно разбитым лицом и сотрясением мозга средней тяжести, но обошлось без переломов, потому как её спасли два толстенных свитера, напяленных под куртchonку. Но скорая её вроде бы всё же увезла.

А тётку ту никто не мог вспомнить в лицо и даже не смог бы узнать, встретить её на улице. Но одно в той районной легенде, живущей, обновляемой, любимой, так и осталось неколебимо и навечно: молодчина, молодчина тётка!!! Хоть так этим ублодкам по сусалам, хоть так!

Лёгкий ответ любви

Чувство было такое лёгкое, парящее, такое солнечное, словно новорождённое ангельское дитя, которому, однако, не суждено узнать ни безнадёжность, ни черноту жизни, потому как дитя это – не жилец. Так влюбляются лишь в детстве и розовом отрочестве: внезапно, безоглядно, бескорыстно, без тяжёлой беспросветности и безысходности ожиданий, не требуя никаких жертв, не думая о последствиях. И эта давным-давным-давно засохшая и забытая розовость вдруг настигла Таю – Т-а-ю!!! – повисшую в возрасте ровно между 50 и 60 годами! И ЭТО БЫЛО УЖАСАЮЩЕ!!!

А произошло, собственно, глупейшее стечение обстоятельств, такое же случайное, как сочетание разноцветных стёклышек в детском калейдоскопе. Тае мучительно не хватало тех денег, которые складывались из пенсии и курьерского её заработка, а ни на какие тучные денежные работы её не брали из-за сморщенного возраста, так что она наконец устала барахтаться и взяла в качестве подработки то, что подсунула судьба: раздавать по утрам бесплатную газету «Метро» на выходе своей же станции метро – с 7 ровно до 11 утра, недорозданные газетки, если оставались – оставлять на специальном стеллаже, после чего – мухой курьерить. Оплата – с гулькин хрен, но других вариантов для Таи не было: у сына она денег просить не хотела, потому как у него же своя

семья, а больше никого из близких родных вообще не было.

Раздавать газетки – не самая мерзкая работка, есть несравнимо мерзее, однако уж и полюбить её можно, только если с детства о ней мечтать. Никаких особых требований нет, надо лишь иметь крепкие лосиные ноги с толстыми копытами, мочевой пузырь из нервущейся резины, лужённый желудочно-кишечный тракт, многорукость Шивы, круговое многоглазье гималайского паука, нержавеющей шарниры в шее, стальной хребет в спине, нервную систему коалы, ну и осенью-зимой-весной всё это должно быть облечено в какую-нибудь толстую шкуру, иначе от ледяных турбулентностей в вестибюле метро всё тулово превращается в вечную мерзлоту, а руки, точнее, пальцы мгновенно становятся бесчувственными обледеневшими деревяшками, к тому же быстро чернеющими от газетного шрифта. Раздавать же в перчатках невыносимо: они сильно мешают отслаивать газетки одну от другой.

Тая начала газетить в первых числах октября и неимение всего перечисленного жалостливо к самой себе осознала уже через два-три дня работы. Шкуру ей заменил толстый старый пуховик, ничего же остального из названного у неё не было. Эти же два-три дня ушли на то, чтобы приноровиться к подъёму своего тела ровно в 5.30 утра, однако было в этих ранних вставаниях что-то необъяснимо волнующее, похожее на начало жизни. А потом надо было приноровиться и к тому, что сумасшедшая рабочая утренняя свистопляска начи-

налась без времени на раскачку, сразу с 7 утра, когда с двух подъёмных эскалаторов (особенно с 7 до 9 или даже дольше) буквально прёт лавина трудового люда: никаких мыслей и чувств в это время не было, лиц Тая не различала, видела лишь руки-руки-руки, выхватывающие у неё заранее приготовленные для раздачи газетки. Иногда Тая бормотала, тихонько смеясь самой себе: «Да что ж вы, как овцы...», но понимала, что после 11 часов она и сама становится такой же, несущейся в плотном гурте, овцой.

Вообще же весь этот метровестибюльный микромир, если смотреть на него как бы сверху, распластавшись над ним совсем невысоко, подобен бесконечно меняющемуся, передвигающемуся пространству Вселенной, каким его изображают в фантастических фильмах, с его свистящими кометами, метеоритами, закручивающимися вихрями, протуберанцами, космическими ветрами, рождающимися и умирающими звёздами, планетами, где всё друг с другом связано и самостийно одновременно: эти сумасшедшие завихрения людских потоков во всех направлениях, столкновения и отталкивания, где никто никого не видит, какие-то вдруг внезапные происшествия, неумолчный гул, слитый из множества разных звуков, а у всех несчастных сотрудников ещё и ненормированная чехарда смен, в том числе и с 5 часов утра. Здесь нет трудового коллектива как некоего конгломерата коллег, работающих бок о бок в одном часовом промежутке времени, здесь нет возможности вести друг с другом

разговоры за жизнь, глубокомысленно топтаться в долгих перекурах, отмечать общими застольями праздники. Чтобы опаматоваться в этом вихре, попав в него на работу, нужно несколько дней, что и ощутила на себе Тая.

И вот, почти как в сказке, ровно на третий день Таинога газетничанья в бурлящем котле вестибюля нарисовался ОН, просто подошла его смена – досмотрщика багажей службы безопасности. И не было никакого объяснения тому, почему из всех досмотрщиков только и именно ОН ухватил за рукав пробегавшую мимо него к своим стеллажам Таю, тормознув её лишь для того, чтобы познакомиться: Тая уже давно не была ни чудесно хороша собой, ни чудесно стройна, спокойно выглядела на свой полтинник с небольшим, минимально заботясь о своей внешности лишь настолько, насколько было необходимо, чтобы не вызывать оторопи или отторжения у людей, с которыми ей во множестве приходилось встречаться по курьерской службе. Ну, сохранились, кажется, в её лице ещё остатки прежней миловидности, и не была она ещё отвратительно бесформенна фигурой, и часто забывала стереть с лица привычное выражение смешливости – ни от чего, просто так. И вдруг ОН хватает её за рукав и тормозит... Да ведь она же наверняка прежде миллион раз просвистывала мимо него, вбегая в метро, но не видя ничьих лиц перед собой, как, впрочем, и все граждане, бешеными колобками катящиеся на работу.

Его звали Сергей, он быстро что-то говорил Тае и смеял-

ся, и она что-то отвечала, и было почему-то легко и парусно, как в ранней юности. Она неотрывно глядела в его лицо, уже безвольно понимая, что весь мир с треском проваливается, а сама она кувырком летит в бездонную пропасть ко всем чертям собачьим вместе со своим гундосым рассудком, что вот сейчас, в этот самый миг она пропадёт глупо, тупо, как-то по-детски, просто от этих изумительно синих-пресиних смеющихся глаз, в которых прыгали, кривлялись и строили рожицы сумасшедшие весёлые чёртики, от изумительных лучиков-морщинок в уголках глаз, от изумительно озорной физиономии, от изумительного звонкого его голоса, его смеха, порывистой живости всех его движений, весь он был похож на свежий ветер, и так хотелось тихо прикоснуться пальцами к его морщинкам у глаз... Он не был красавцем и уже давно не был юношей, но всё это не имело значения... Серёжа, Серёжа, Серёжа-а-а-а... А само-то падение в пропасть длилось не более пары минут, да и разговором это нельзя назвать, так – пунктир и не более того. Морок, несусветная глупость...

Это дармовое, нелепое и непрошеное счастье обрушилось на Таю всей своей лёгкостью столь неожиданно, что она не успела ничего предпринять, поставить зубастый капкан, чтобы сразу и намертво прихлопнуть вовсе ненужного ей ангелочка. Но к несчастью, от счастья нет лекарства, и когда оно вдруг хватает за сердце и сжимает его до розовых облаков, то остаётся лишь одно – расслабиться и переждать, ведь эта болезнь под названием «счастье» проходит сама собой и очень

быстро, но... может, вот ради этих редких дивных крупиц уже стоит жить, а не отвергать жизнь, а?

Когда Тая осознала, что влюбилась в мгновение ока на пустом, в сущности, месте, она в первый миг пришла в ужас: сочетание отроческой чистоты и розовости чувства с её реальным возрастом увиделось ей столь омерзительным, сколь омерзительна и карикатурна без меры размалёванная старуха в стремлении выглядеть девушкой. Тая была уверена, что будь вся эта оказия не кусочком её жизни, а событиями фильма на экране – о-о-о!!! каким сочным поводом для махрового ёрничанья, испражнений квазиостроумия стал бы такой простенький, примитивненький сюжетец: влюблённая старуха, взлетевшая на облако, которой вот этого и более чем достаточно. Поэтому Тая проглотила свою живую, бьющуюся в таком простом счастье влюблённость молча – молча ото всех-всех, ото всего света, ни единому человеку не рассказала она о своей внезапной оказии.

Однако ведь она же ещё не была законченной, к тому же раскрашенной, старухой, а Серёжа уже давно не был юношей, и ещё Тая точно знала, что ангелочек над ней – не жилец, и она вдруг махнула на всё рукой: ну и пусть всё идёт, как идёт, и пусть всё закончится, как закончится, плевать! Эта дивной чистейшей прозрачности влюблённость была даже чем-то смешна в своей абсолютной нетребовательности и немоте, и Тая не только не ждала, но и не желала никакого «взрослого» продолжения этой счастливой глупости. И вот

тогда кто-то в Таинной душе тихонько и нежно запел тоненьким голоском сначала такое любимое бачуринское

*...я волнуем и вечно томим
Кольханьем, дыханьем земным,
Что ни день – то весна, что ни ночь – то без сна,
Зелено, зелено, зеленым...*

А потом такое же любимое новелла-матвеевское

*...мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою...*

Тая всё так же скакала по утрам, раздавая газетки, только теперь при этом без конца мурлыкала себе под нос всё одно и то же: то бачуринское, то матвеевское, от начала до конца и – опять, и – снова, ей не надоедало. А ещё она всё время вспоминала слова Гены Шестопапа из безумно любимого ею и миллион раз пересмотренного фильма «Доживём до понедельника»: «...человеку необходимо состояние влюблённости, иначе просто скучно жить...»

И вот уже наступил конец ноября, на улице была серость, хмурость, то дождь, то снег, Тая была постоянно простужена, но – как же ей было хорошо: счастье – это особое, парящее в прозрачной синеве состояние души, и оно никак не связано ни с какими перепадами настроения и самочувствия, ни с какими погодными и временными годами, оно и рождается, и живёт

само по себе, совершенно преображая окружающий мир в глазах влюблённого человека. И когда Тая вбегала по утрам в вестибюль метро и видела застувившего в свою смену Серёжу, ей хотелось обнять и любить всех – всех-всех, весь мир, сделать счастливыми всех-всех-всех, эх, знать бы только как! Они по-прежнему лишь перебрасывались на ходу быстрыми весёлыми, ничего не значащими вопросами, ответами, фразами и – всё! Дальше – она на своём месте, он – на своём. Ни единым словом, ни единым взглядом не выдала Тая себя Серёже, и в этой полной свободе от пригвождённости двух людей друг к другу была такая лёгкость, которую так точно и прекрасно высказала лишь Марина Цветаева:

*...что никогда тяжёлый шар земной
не уплывёт под нашими ногами...*

Это уж много позже, спустя, наверное, 500 миллиардов лет, когда Светило погасло, а Вселенная остыла и прекратила существование, тогда только – из далёкого далека, из далёкой новой Вселенной своей жизни Тая чётко увидела, что та маленькая ангельская нежность на грани рождения любви была всего лишь рикошетом её 14-летнего бабского одиночества, в которое она сама же себя добровольно замуровала после смерти очень сильно любимого мужа, которому не захотела искать замену. Эти 14 лет одиночества оказались мимолетной замедленной действительностью... Может быть, тут ещё вклини-

лась некая не объяснимая никакими разумными доводами, скрытая составляющая, та самая, которая почему-то тянет вот к тому, к тому человеку, а вот от этого, который и гадо-сти-то никакой не сделал и не сказал, почему-то отталкивает. Надо или не надо искать этой загадке объяснение, разгадывать её? Или всё оставить как есть? Во всяком случае, Тая оставила как есть.

Тая ярко помнила, что такое вот состояние счастья она испытала, когда Игорь, муж, через 20 лет супружеской жизни и совсем незадолго до своей смерти сказал ей, что она даже представить себе не может, как сильно он любит её сейчас, ещё глубже, чем в юности. И, конечно, любое счастье – лишь крупички мгновений в жизни, и прав, прав был милый гениальный Антон Павлович Чехов, когда в одном из писем ответил на уговоры Суворина жениться: «...счастье каждый день, от утра и до утра – я этого не вынесу...»

Чем закончилась тогда Таина влюблённость, так и не переросшая в любовь? Да тем, чем и должна была закончиться, и ничем другим.

Тая прогазетничала ровно три месяца – до конца декабря – и уволилась, потому что даже эти несчастные газетные гроши работодатели платили лишь тогда, когда сами считали нужным, и заработанные ТРУДОМ деньги у них надо было вымаливать, да ещё слушать при этом истерики бухгалтерши.

За эти три месяца Тая не узнала о Серёже ничего, потому

ЧТО И *не*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.